


Из  
воспоминаний  
рядового  
Иванова



В.М. Гаршин

В.М.Гаршин Красный цветок //Эксмо, Москва, 2008

ISBN: 978-5-699-27370-6

FB2: "Chernov2 " <chernov@orel.ru >, 19 November 2008, version 1.1

UUID: 87866b02-0690-102c-99a2-0288a49f2f10

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Всеволод Михайлович Гаршин

# Из воспоминаний рядового Иванова

Рассказ о черновой стороне русско-турецкой войны 1877-78 годов, в которой В. Гаршин участвовал рядовым-добровольцем.

Повесть посвящена Тургеневу, чьего одобрения удостоилась.

# Содержание

#1	0005
I	0005
II	0015
III	0029
IV	0037
V	0053
VI	0060
VII	0074
VIII	0082
IX	0087

**Всеволод Гаршин  
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  
РЯДОВОГО ИВАНОВА**

Четвертого мая тысяча восемьсот семьдесят седьмого года я приехал в Кишинев и через полчаса узнал, что через город проходит 56-я пехотная дивизия. Так как я приехал с целью поступить в какой-нибудь полк и побывать на войне, то седьмого мая, в четыре часа утра, я уже стоял на улице в серых рядах, выстроившихся перед квартирой полковника 222-го Старобельского пехотного полка. На мне была серая шинель с красными погонами и синими петлицами, кепи с синим околышем; за спиною ранец, на поясе патронные сумки, в руках тяжелая крынковская винтовка.

Музыка грянула: от полковника выносили знамена. Раздалась команда; полк беззвучно сделал на караул. Потом поднялся ужасный крик: скомандовал полковник, за ним батальонные и ротные командиры и взводные унтер-офицеры. Следствием всего этого было запутанное и совершенно непонятное для меня движение серых шинелей, кончившееся тем, что полк вытянулся в длинную колонну и

мерно зашагал под звуки полкового оркестра, гремевшего веселый марш. Шагал и я, стараясь попадать в ногу и идти наравне с соседом. Ранец тянул назад, тяжелые сумки — вперед, ружье соскакивало с плеча, воротник серой шинели тер шею; но, несмотря на все эти маленькие неприятности, музыка, стройное, тяжелое движение колонны, раннее свежее утро, вид щетины штыков, загорелых и суровых лиц настраивали душу твердо и спокойно.

У ворот домов, несмотря на раннее утро, толпился народ; из окон глядели полураздетые фигуры. Мы шли по длинной прямой улице, мимо базара, куда уже начали съезжаться молдаване на своих воловьих возах; улица поднималась в гору и упиралась в городское кладбище. Утро было пасмурное и холодное, накрапывал дождик; деревья кладбища виднелись в тумане; из-за мокрых ворот и стены выглядывали верхушки памятников. Мы обходили кладбище, оставляя его вправо. И казалось мне, что оно смотрит на нас сквозь туман в недоумении. «Зачем идти вам, тысячам, за тысячи верст умирать на чужих по-

лях, когда можно умереть и здесь, умереть покойно и лечь под моими деревянными крестами и каменными плитами? Оставайтесь!»

Но мы не остались. Нас влекла неведомая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуюсь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню — самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий.

За кладбищем открылась широкая и глубокая долина, уходившая из глаз в туман. Дождь пошел сильнее; кое-где, далеко-далеко, тучи, раздаваясь, пропускали солнечный луч; тогда косые и прямые полосы дождя сверкали серебром. По зеленым склонам долины ползли туманы; сквозь них можно было различить длинные, вытянувшиеся колонны войск, шедших впереди нас. Изредка блестя кое-где штыки; оружие, попав в солнечный свет, горело несколько времени яркою звез-

дочкою и меркло. Иногда тучи сдвигались: становилось темнее; дождь шел чаще. Через час после выступления я почувствовал, как струйка холодной воды побежала у меня по спине.

Первый переход был невелик: от Кишинева до деревни Гаурени всего восемнадцать верст. Однако, с непривычки нести на себе фунтов двадцать пять — тридцать груза, я, добравшись до отведенной нам хаты, сначала даже сесть не мог: прислонился ранцем к стене да так и стоял минут десять в полной амуниции и с ружьем в руках. Один из солдат, идя на кухню за обедом, сжалившись надо мной, взял и мой котелок; но когда он пришел, то застал меня спящим глубоким сном. Я проснулся только в четыре часа утра от нестерпимо резких звуков рожка, игравшего генерал-марш, и через пять минут снова шагнул по грязной глинистой дороге, под мелко сыпавшим, точно сквозь сито, дождиком. Передо мною двигалась чья-то серая спина с навьюченным на нее бурым телячьим ранцем, побрякивавшим железным котелком и ружьем на плече; с боков и сзади тоже шли та-



кие же серые фигуры. Первые дни я не мог отличить их друг от друга. 222-й пехотный полк, куда я попал, состоял большею частью из вятских (вячких, как они говорили) и костромских мужиков. Всё широкие, скуластые лица, побуревшие от холода; серые небольшие глаза, белокурые, бесцветные волосы и бороды. Хотя я и помнил несколько фамилий, но кому они принадлежат — не знал. Через две недели я не мог понять, как я мог смешивать двух своих соседей: одного, шедшего рядом со мною, и другого, шедшего рядом с обладателем серой спины, бывшей постоянно перед моими глазами. Я безразлично называл их Федоровым и Житковым и постоянно ошибался, а между тем они были совершенно не похожи друг на друга.

Федоров, ефрейтор, был молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, стройно, даже изящно сложенный. У него было правильное, будто выточенное лицо, с очень красиво очерченными носом, губами и подбородком, покрытым белокурой курчавой бородкой, и с веселыми голубыми глазами. Когда кричали: «песенники, вперед!», он бывал за-

певалой нашей роты и чисто выводил грудным тенором, на высоких нотах прибегая к высочайшему фальцету:

*...Царя тре-е-буют в сенат!*

Он был уроженец Владимирской губернии, с детства попавший в Петербург. Что редко случается, петербургская «образованность» не испортила его, но только отшлифовала, научив, между прочим, читать газеты и говорить всякие мудреные слова.

— Конечно, Владимир Михайлович, — говорил он мне, — я могу иметь рассуждения больше, чем дядя Житков, так как Питер оказал на меня свое влияние. В Питере цивилизация, а у них в деревне одно незнание и дикость. Но, однако, как они человек пожилой и, можно сказать, виды видевший и перенесший различные превратности судьбы, то я не могу на них орать, например. Ему сорок лет, а мне двадцать третий. Хотя я в роте и ефрейтор.

Дядя Житков — коренастый, необыкновенной силы мужик, всегда мрачного вида. Лицо у него было темное, скуластое, глаза малень-

кие, смотревшие исподлобья. Он никогда не улыбался и редко говорил. Он был плотник по ремеслу и находился в бессрочном отпуску, когда мобилизовали нашу армию. До чистой отставки ему оставалось всего несколько месяцев; началась война, и Житков пошел в поход, оставив дома жену и пятерых ребятшек. Несмотря на непривлекательную наружность и вечную мрачность, в нем было что-то влекущее, доброе и сильное. Теперь мне кажется совершенно непонятным, как я мог смешивать этих соседей, но в первые два дня оба мне казались одинаковыми: серыми, навьюченными, уставшими и продрогшими.

Всю первую половину мая шли непрерывные дожди, а мы двигались без палаток. Бесконечная глинистая дорога подымалась на холм и спускалась в овраг чуть ли не на каждой версте. Идти было тяжело. На ногах комья грязи, серое небо низко повисло, и беспрерывно сеет на нас мелкий дождь. И нет ему конца, нет надежды, придя на ночлег, высушиться и отогреться: румыны не пускали нас в жилье, да им и негде было поместить

такую массу народа. Мы проходили город или деревню и становились где-нибудь на выгоне.

— Стой!.. Составь!

И приходилось, поевши горячей похлебки, укладываться прямо в грязь. Снизу вода, сверху вода; казалось, и тело все пропитано водой. Дрожишь, кутаешься в шинель, понемногу начинаешь согреваться влажною теплотой и крепко засыпаешь опять до проклинаемого всеми генерал-марша. Снова серая колонна, серое небо, грязная дорога и печальные мокрые холмы и долины. Людям приходилось трудно.

— Растворились все хляби небесные, — со вздохом говорил наш полувзводный унтер-офицер Карпов, старый солдат, сделавший хивинский поход. — Мокнем, мокнем без конца.

— Высохнем, Василь Карпыч! Вот солнышко выглянет, всех высушит. Поход долгод: поспеем и высохнуть и вымокнуть, пока дойдем. Михайлыч! — обращается сосед ко мне. — Далече ли до Дунаю-то?

— Недели три еще пройдем.

— Три недели! Да две идем вот...

— Идем к черту в лапы, — проворчал дядя Житков.

— Чего ты там, старый черт, ворчишь? Народ смущаешь! К какому черту в лапы? Почему ты такое произносишь?

— На праздник, что ли, идем? — огрызнулся Житков.

— Не на праздник, а как должны исполнять присягу!.. Ты что, когда присягал, говорил? «Не щадя живота!..» А! Старый дурак! Ты смотри у меня!

— Что ж я сказал, Василь Карпыч? Нешто не иду! Помирать, так помирать... все одно...

— То-то! Поговори еще!

Житков молчит; лицо его становится еще мрачнее. Да и всем вообще не до разговоров: идти было слишком тяжело. Ноги скользят, и люди часто падают в липкую грязь. Крепкая ругань раздается по батальону. Один Федоров не вешает носа и без усталости рассказывает мне историю за историей о Петербурге и деревне.

Однако всему бывает конец. Однажды, проснувшись утром на бивуаке около деревни, где была назначена дневка, я увидел голу-

бое небо, белые мазанки и виноградники, ярко залитые утренним солнцем, услышал повеселевшие живые голоса. Все уже встали, обсушились и отдыхали от тяжелого полутора-недельного похода под дождем без палаток. Во время дневки привезли и их. Солдаты тотчас же принялись натягивать их и, устроив все как следует, забив колышки и натянув полотнища, почти все улеглись под тень.

— От дождя не помогли, от солнышка сберегут.

— Да, чтобы личико у барина не почернело, — пошутил Федоров, лукаво подмигивая в мою сторону.

В нашей роте было всего два офицера: ротный командир — капитан Заикин и субалтерн-офицер — прапорщик Стебельков. Ротный был человек средних лет, толстенький и добрый; Стебельков — юноша, только что выпущенный из училища. Жили они дружно; капитан приголубил прапорщика, поил и кормил его, а во время дождей даже прикрывал под своим единственным гуттаперчевым плащом. Когда роздали палатки, наши офицеры поместились вместе, а так как офицерские палатки были просторны, то капитан решил поселить с собою и меня.

Утомленный бессонною ночью (накануне наша рота была назначена к обозу, и мы всю ночь вытаскивали его из рытвин и даже вывозили при помощи «Дубинушки» из разлившейся речки), я крепко уснул после обеда. Денщик ротного командира разбудил меня, осторожно трогая за плечо.

— Барин Иванов! Барин Иванов! — шептал он, как будто не хотел разбудить меня, а, напротив, всеми силами старался не нарушить

моего сна.

— Что вам?

— Ротный требуют. — И видя, что я надеваю портупею со штыком, прибавил: — Они сказали: веди в чем есть.

В палатке Заикина собралась целая компания. Кроме хозяев, было еще два офицера: полковой адъютант и командир стрелковой роты Венцель. В 1877 году батальон состоял не из четырех, как теперь, а из пяти рот; на походе стрелковая рота шла сзади, так что наша рота своими последними рядами соприкасалась с ее первыми. Мне приходилось идти почти между стрелками, и я уже несколько раз слышал от них самые дурные отзывы о штабс-капитане Венцеле. Все четверо сидели вокруг ящика, заменявшего стол и занятого самоваром, посудой и бутылкою, и пили чай.

— Господин Иванов! Пожалуйста, пожалуйста! — закричал капитан. — Никита! Чашку, кружку, стакан, что там у тебя есть! Подвинься, Венцель; пусть он присаживается.

Венцель встал и весьма любезно поклонился. Это был сухощавый, небольшого роста молодой человек, бледный и нервный.



«Какие у него беспокойные глаза и какие тонкие губы!» — пришло мне тогда в голову. Адъютант, не вставая, протянул мне руку. — Лукин, — коротко отрекомендовался он. Мне было неловко. Офицеры молчали; Венцель прихлебывал чай с ромом; адъютант пыхтел коротенькой трубкой; прапорщик Стебельков, кивнув мне головою, продолжал читать растрепанный том какого-то переводного романа, совершившего в его чемодане поход из России за Дунай и вернувшегося впоследствии в еще более растрепанном виде в Россию. Хозяин налил большую глиняную кружку чаю и влил в него огромную порцию рому.

— Нате-ка, господин студент! Вы на меня не сердитесь: я человек простой. Да и все мы здесь, знаете, люди простые. А вы человек образованный; значит, должны нас извинить. Так, что ли?

И он своею огромною рукою схватил мою руку сверху, как хищная птица хватает добычу, и несколько раз потряс ее в воздухе, нежно смотря на меня выпученными и округлившимися маленькими глазами.

— Вы студент? — спросил Венцель.

— Да, бывший, господин капитан.

Он улыбнулся и поднял на меня свой беспокойный взор. Мне вспомнились солдатские рассказы, но в ту минуту я усомнился в их правдивости.

— Зачем это «господин капитан»? Здесь, в палатке, вы свой между своими. Здесь вы просто интеллигентный человек между такими же, — тихо сказал он.

— Интеллигентный, это верно! — закричал Заикин. — Студент! Люблю студентов, хоть они и бунтовщики. Сам был бы студентом, если бы не судьба.

— Какая ж такая у тебя особенная судьба, Иван Платоныч? — спросил адъютант.

— Да приготовиться никак не мог. Ну, математика еще туда-сюда, а уж насчет другого чего — не идет, да что хочешь. Словесность эта... Правописание... Так и в юнкерском училище писать не научился. Ей-богу!

— Знаете, господин студент, — сказал адъютант между двумя огромными выпущенными им клубами дыма, — как Иван Платоныч в слове «еще» четыре ошибки делает?

— Ну, ну, не ври, тетенька! — Заикин отмахнулся рукой.

— Право, не вру. «И», «эс», «ша», «о» — как это вам покажется?

И адъютант громко расхохотался.

— Дери глотку. Сам тоже... еще адъютант! «Стол» через ять пишет.

Адъютант совсем залился; прапорщик Стебельков, только что хлебнувший чаю, приснул им на свой роман и потушил одну из двух свечей, освещавших палатку; я тоже не мог удержаться от смеха. Иван Платоныч, более всех довольный своей остротой, гремел раскатами басистого хохота. Один Венцель не смеялся.

— Так словесность, Иван Платоныч? — по-прежнему тихо спросил он.

— Словесность, словесность... Ну, и прочее. Знаете, как некто географию прошел до «экватора», а историю до «эры». Да нет! Это все ерунда, не в том дело. А просто деньжонки водились, ну и прожигал жизнь. Ведь я, Иванов... позвольте имя и отчество?..

— Владимир Михайлыч.

— Владимир Михайлыч! Ладно. Ведь я бес-

путная голова был смолоду. Чего только не выкидывал! Ну, знаете, как в песне поется: «жил я, мальчик, веселился и имел свой капитал; капиталу, мальчик, я решился и в неволю жить попал». Поступил юнкером в сей славный, хотя глубоко армейский полк; послали в училище, кончил с грехом пополам, да вот и тяну ляжку второй десяток лет. Теперь вот на турку прем. Выпьемте, господа, натурального. Стоит ли его чаем портить? Выпьем, господа «пушечное мясо».

— Chair a canon, — перевел Венцель.

— Пускай шер а канон, пускай по-французски. Капитан у нас умный, Владимир Михайлыч: языки знает и разные немецкие стишки наизусть долбит. Слушайте, юноша! Я вас затем позвал, чтобы предложить вам перебраться ко мне в палатку. Там ведь вам вшестером с солдатами тесно и скверно. Насекомые. Все-таки у нас лучше...

— Благодарю вас, только позвольте отказаться.

— Это отчего? Вздор! Никита! Тащи его ранец! Вы в которой палатке?

— Вторая с правой стороны. Только все-та-

ки позвольте мне остаться там. Мне ведь с солдатами больше бывать приходится. Лучше уж совсем с ними.

Капитан внимательно посмотрел на меня, как будто бы хотел прочитать мои мысли. Подумав, он сказал:

— Вы что же, в дружбе с ними состоять хотите?

— Да, если это будет возможно.

— Верно. Не перебирайтесь. Уважаю.

И он сгреб своей ручищей мою руку и начал трясти ее в воздухе.

Немного времени спустя я распрощался с офицерами и вышел из палатки. Вечерело; люди одевались в шинели, приготавливаясь к зоре. Роты выстроились на линейках, так что каждый батальон образовал замкнутый квадрат, внутри которого были палатки и ружья в козлах. В тот же день, благодаря дневке, собралась вся наша дивизия. Барабаны пробили зорю, откуда-то издалека слышались слова команды:

— Полки, на молитву, шапки долой!

И двенадцать тысяч человек обнажили головы. «Отче наш, иже еси на небеси», — нача-

ла наша рота. Рядом тоже запели. Шестьдесят хоров, по двести человек в каждом, пели каждый сам по себе; выходили диссонансы, но молитва все-таки звучала трогательно и торжественно. Понемногу начали затихать хоры; наконец далеко, в батальоне, стоявшем на конце лагеря, последняя рота пропела: «но избави нас от лукавого». Коротко пробили барабаны.

— Накройсь!

Солдаты укладывались спать. В нашей палатке, где, как и в других, помещалось шестеро на пространстве двух квадратных сажен, мое место было с краю. Я долго лежал, смотря на звезды, на костры далеких войск, слушая смутный и негромкий шум большого лагеря. В соседней палатке кто-то рассказывал сказку, беспрестанно повторяя слова «наконец того», произнося не «тово», а «того».

— Наконец того, приходит тот принц к своей супруге и начал ей про все выговаривать. Наконец того, она... Лютиков, спишь, что ли?.. Ну, спи, Христос с тобой, Господи, Царица Небесная... Преподобных отец наших... — шепчет рассказчик и стихает.

В офицерской палатке тоже говор. По освещенному изнутри полотну двигаются огромные и уродливые тени сидящих в палатке офицеров. Изредка слышен взрыв хохота: это заливается адъютант. По линейке ходит туда и сюда часовой с ружьем; напротив нас, на бивуаке недалеко стоящей артиллерии, тоже часовой, с обнаженной шашкой. Оттуда изредка слышен топот лошадей у коновязей, их фырканье, слышно, как они мирно жуют овес, с таким же добродушным шурханьем, какое мне случилось слышать не на войне, а где-нибудь на постоялом дворе на родине, в такую же тихую звездную ночь. Семь звезд Большой Медведицы блестели низко над горизонтом, гораздо ниже, чем у нас. Смотря на Полярную звезду, я думал, что именно в этом направлении должен быть Петербург, где я оставил мать, друзей и все дорогое. Над головою блестели знакомые созвездия; Млечный Путь не тускло светился, а сиял ясною, торжественно-спокойною полосой света. На юге какие-то большие звезды незнакомого, не видимого у нас созвездия горели, одна красным, другая зеленоватым огнем. Мне думалось:

«Когда мы пойдем дальше, за Дунай, за Балканы, в Константинополь, увижу ли я тогда еще новые звезды? И какие они?»

Спать не хотелось; я встал и начал бродить по сырой траве между нашим батальоном и артиллерией. Темная фигура поравнялась со мною, гремя саблею; по ее звуку я догадался, что это офицер, и вытянулся во фронт. Офицер подошел ко мне и оказался Венцелем.

— Не спится, Владимир Михайлыч? — спросил он мягким и тихим голосом.

— Не спится, господин капитан.

— Меня зовут Петр Николаевич... И мне тоже не спится. Сидел, сидел у вашего командира, надоело: засели за карты, да и перепились все... Ах, какая ночь!

Он пошел рядом со мною; дойдя до конца линейки, мы повернули назад и прошли несколько раз взад и вперед молча. Венцель начал первый.

— Скажите мне, вы пошли в поход по собственному желанию?

— Да.

— Что же влекло вас?

— Как вам сказать? — ответил я, не желая



вдаваться в подробности. — Больше всего, конечно, желание поиспытать, посмотреть.

— И, вероятно, изучить народ в лице его представителя — солдата? — спросил Венцель.

Было темно, и я не видел выражения его лица, но слышал в голосе иронию.

— Куда уж тут изучать! До изучения ли, когда думаешь только о том, как бы дойти до привала да заснуть!

— Нет, без шуток. Скажите мне, отчего вы не перебрались к вашему командиру? Неужели вы дорожите мнением этого мужичья?

— Конечно, дорожу, как мнением всех, кого у меня нет причины не уважать.

— Не имею причины вам не верить. Да, впрочем, ведь теперь такая полоса нашла. И литература — и та возводит мужика в какой-то перл творения.

— Кто говорит о перлах творения, Петр Николаевич! Признавали бы человека, и то ладно.

— Ах, полноте, пожалуйста, с жалкими словами! Кто его не признает? Человек? — ну, пусть будет человек; какой? — это другой во-

прос... Давайте, поговорим о другом.

Мы действительно разговорились. Венцель, видимо, очень много читал и, как сказал Заикин, знал и языки. Замечание капитана о том, что он «стихи долбит», тоже оказалось верным: мы заговорили о французах, и Венцель, обругав натуралистов, перешел к сороковым и тридцатым годам и даже с чувством продекламировал «Декабрьскую ночь» Альфреда де Мюссе. Он читал хорошо: просто и выразительно и с хорошим французским выговором. Кончив, он помолчал и прибавил:

— Да, это хорошо; но все французы вместе не стоят десяти строк Шиллера, Гёте и Шекспира.

Заведуя полковой библиотекой, пока не принял роту, он прилежно следил и за русской литературой. Говоря о ней, он строго осудил, как он выразился, «сиволапое направление». От этого замечания разговор вернулся к прежнему предмету. Венцель спорил горячо.

— Когда я, почти мальчиком, поступил в полк, я не думал того, что говорю вам теперь. Я старался действовать словом, я старался приобрести нравственное влияние. Но про-

шел год, и они вытянули из меня все жилы. Все, что осталось от так называемых хороших книжек, столкнувшись с действительностью, оказалось сентиментальным вздором. И теперь я думаю, что единственный способ быть понятым — вот!

Он сделал какой-то жест рукою. Было так темно, что я не понял его.

— Что ж это, Петр Николаич?

— Кулак! — отрезал он. — Прощайте, однако, пора спать.

Я сделал ему под козырек и побрел к своей палатке. Мне было и больно и противно.

В палатке, казалось, уже все спали; но минуты через две после того, как я лег, Федоров, спавший рядом со мною, тихо спросил:

— Михайлыч, спите?

— Нет, не сплю.

— С Венцелем ходили?

— С ним самым.

— Что ж он с вами как? Смирный?

— Ничего, смирный, даже любезен.

— Ишь ты ведь! Что значит свой брат барин! Не то, что с нами.

— А что? Разве очень сердит?

— И-и-и... беда! Трещат скулы во второй стрелковой. Зверь!

И он сейчас же уснул, так что в ответ на мой следующий вопрос я услышал только его ровное и спокойное дыхание. Я завернулся в шинель; в голове все спуталось и исчезло в крепком сне.

### III

За дождями наступили жары. Около этого времени мы вышли с проселка, где ноги вязли в расползавшейся почве, на большое шоссе, ведущее из Ясс в Бухарест. Первый наш переход по шоссе, от Текуча к Берладу, навсегда останется в памяти сделавших его. Было тридцать пять градусов в тени; переход был сорок восемь верст. Было тихо; мелкая известковая пыль, поднимаемая тысячами ног, стояла над шоссе; она лезла в нос и рот, пудрила волосы, так что нельзя было разоб-  
брать их цвета; смешанная с потом, она по-  
крыла все лица грязью и превратила всех в негров. Почему-то мы шли тогда не в рубашках, а в мундирах. Солнце нагревало черное сукно, невыносимо пекло головы сквозь черные ке-  
пи; ноги чувствовали сквозь подошву раска-  
ленный щебень шоссе. Люди задыхались. На беду, колодцы были редки, и в большей части их было так мало воды, что голова нашей ко-  
лонны (шла целая дивизия) вычерпывала всю воду, и нам, после страшной давки и тол-  
котни у колодцев, доставалась только глини-

стая жидкость, скорее грязь, чем вода. Когда не хватало и ее, люди падали. В этот день в одном нашем батальоне упало на дороге около девяноста человек. Трое умерло от солнечного удара.

Я выносил эту пытку сравнительно с другими легко. Может быть, потому, что наш полк был набран большею частью из северян, а я с детства привык к степным жарам; а может быть, тут действовала и иная причина. Мне случалось заметить, что простые солдаты вообще принимают физические страдания ближе к сердцу, чем солдаты из так называемых привилегированных классов (говорю только о тех, кто пошел на войну по собственному желанию). Для них, простых солдат, физические беды были настоящим горем, способным наводить тоску и вообще мучить душу. Те же люди, которые шли на войну сознательно, хотя физически страдали, конечно, не меньше, а больше солдат из простых людей, — вследствие изнеженного воспитания, сравнительной телесной слабости и проч., — но душевно были спокойнее. Душевный мир их не мог быть нарушен избитыми в кровь

ногами, невыносимым жаром и смертельной усталостью. Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия, мира с самим собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда я испытывал эти невзгоды и шел под пули убивать людей. Дико и странно может показаться все это, но я пишу одну правду.

Как бы то ни было, когда другие падали на дороге, я все-таки еще помнил себя. В Текуче я запасся огромною тыквенною кубышкою, в которую входило, по крайней мере, бутылки четыре. Дорогой мне пришлось не раз наполнять ее водой; половину этой воды я выливал в себя, другую раздавал соседям. Идет человек, перемогается, но жара берет свое: ноги начинают подгибаться, тело качается, как у пьяного; сквозь слой грязи и пыли видно, как багровеет лицо; рука судорожно стискивает винтовку. Глоток воды оживляет его на несколько минут, но в конце концов человек без памяти валится на пыльную и жесткую дорогу. «Дневальный!» — кричат хриплые голоса. Обязанности дневального — оттащить упавшего в сторону и помочь ему; но и сам

дневальный почти в таком же состоянии. Кавы по сторонам шоссе усеяны лежащими людьми... Федоров и Житков идут рядом со мною и хотя видимо страдают, но крепятся. Жара произвела на них действие сообразно с их характерами, но только в обратную сторону: Федоров молчит и только иногда тяжело вздыхает, жалобно поглядывает своими прекрасными, а теперь воспаленными от пыли глазами; дядя Житков ругается и резонерствует.

— Ишь, валится... Штыком заденешь, черт! — сердито кричит он, отклоняясь от штыка упавшего солдата, который чуть не попал ему острием в глаз. — Господи! Царица Небесная! За что ты на нас посылаешь? Кабы не живодер этот, и сам бы, кажись, упал.

— Кто живодер, дядя? — спрашиваю я.

— Немцев, штабс-капитан. Нонче он дежурный; сзади идет. Лучше идти, а то так отработает... Места живого не оставит.

Я знал уже, что солдаты переделали фамилию «Венцель» в «Немцев». Выходило и похоже и по-русски.

Я вышел из рядов. В сторонке от шоссе ид-



ти было немного легче: не было такой пыли и толкотни. Сторонкой шли многие: в этот несчастный день никто не заботился о сохранении правильного строя. Понемногу я отстал от своей роты и очутился в хвосте колонны.

Венцель, измученный, задыхающийся, но возбужденный, догнал меня.

— Каково? — спросил он осипшим голосом. — Пройдемтесь стороною. Я совершенно измучен.

— Хотите воды?

Он жадно выпил несколько больших глотков из моей кубышки.

— Благодарю. Легче стало. Ну, денек!

Несколько времени мы шли рядом молча.

— Кстати, — сказал он, — вы так и не перебрались к Ивану Платонычу?

— Нет, не перебрался.

— Глупо. Извините за откровенность. До свиданья; мне надо в хвост колонны. Что-то уж очень много этих нежных созданий падает.

Пройдя несколько шагов и повернув голову назад, я увидел, что Венцель наклонился

над упавшим солдатом и тащит его за плечо.

— Вставай, каналья! Вставай!

Я не узнал своего образованного собеседника. Он сыпал грубыми ругательствами без перерыва. Солдат был почти без чувств, но открыл глаза и с безнадежным выражением смотрел на взбешенного офицера. Губы его шептали что-то.

— Вставай! Сейчас же вставай! А! Ты не хочешь? Так вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Венцель схватил свою саблю и начал наносить ее железными ножнами удар за ударом по измученным ранцем и ружьем плечам несчастного. Я не выдержал и подошел к нему.

— Петр Николаевич!

— Вставай!.. — Рука с саблей еще раз поднялась для удара.

Я успел крепко схватить ее.

— Бога ради, Петр Николаевич, оставьте его!

Он обернул ко мне разъяренное лицо. С выкатившимися глазами и с судорожно искривленным ртом, он был страшен. Резким движением он вырвал свою руку из моей. Я

думал, что он разразится на меня грозой за мою дерзость (схватить офицера за руку действительно было крупной дерзостью), но он сдержал себя.

— Слушайте, Иванов, не делайте этого никогда! Если б на моем месте был какой-нибудь бурбон, вроде Щурова или Тимофеева, вы бы дорого заплатили за вашу шутку. Вы должны помнить, что вы рядовой и что вас за подобные вещи могут без дальних слов расстрелять!

— Все равно. Я не мог видеть и не вступить.

— Это делает честь вашим нежным чувствам. Но прилагаете вы их не в то место. Разве можно иначе с этими... (Его лицо выразило презрение, даже больше, какую-то ненависть.) Из этих десятков свалившихся, как бабы, может быть, только несколько человек действительно изнемогли. Я делаю это не из жестокости — во мне ее нет. Нужно поддерживать спайку, дисциплину. Если б с ними можно было говорить, я бы действовал словом. Слово для них — ничто. Они чувствуют только физическую боль.

Я не дослушал его и пустился догонять свою уже далеко ушедшую роту. Я догнал Федорова и Житкова, когда наш батальон свели с шоссе на поле и скомандовали остановиться.

— Что это вы, Михайлыч, с штабс-капитаном Венцелем говорили? — спросил Федоров, когда я в изнеможении упал возле него, едва успев поставить ружье.

— Говорил! — пробурчал Житков. — Нешто так говорят? Он его за руку схватил. Эх, барин Иванов, берегитесь Немцева, не смотрите, что он разговаривать с вами охоч, пропадете вы с ним ни за денежку!

## IV

Поздно вечером мы добрались до Фокшан, прошли через неосвещенный безмолвный и пыльный городок и вышли куда-то в поле. Не было видно ни зги, кое-как поставили батальоны, и измученные люди уснули как убитые; никто почти не захотел есть приготовленного «обеда». Солдатская еда всегда «обед», случится ли она ранним утром, днем или ночью. Целую ночь подтягивались отсталые. На заре мы опять выступили, утешаясь тем, что через переход будет дневка.

Снова движущиеся ряды; снова ранец давит онемевшие плечи, снова болят истертые и налившиеся кровью ноги. Но первые десять верст почти ничего не сознаешь. Короткий сон не может уничтожить усталости вчерашнего дня, и люди шагают совсем сонные. Мне случалось спать на ходу до такой степени крепко, что, остановившись на привале, я не верил, что мы уже прошли десять верст, и не помнил ни одного места из пройденного пути. Только когда перед привалом колонны начинают подтягиваться и перестраиваться для

остановки, просыпаешься и с радостью думаешь о целом часе отдыха, когда можно развьючиться, вскипятить воду в котелке и полежать на свободе, попивая горячий чай. Как только ружья поставлены и ранцы сняты, большая часть людей принимается собирать топливо — почти всегда сухие стебли прошлогодней кукурузы. В землю втыкаются два штыка; на них кладется шомпол, а на него вешаются два или три котелка. Сухие рыхлые стебли горят ясно и весело; раскладывают их всегда с надветренной стороны; пламя лижет закопченные котелки, и через десять минут вода бьет ключом. Чай бросали прямо в кипяток и давали ему вывариться: получалась крепкая, почти черная жидкость, которую пили большею частью без сахара, так как казна, выдававшая очень много чая (его даже курили, когда не хватало табаку), давала очень мало сахара, и пили в огромном количестве. Котелок, в который входило семь стаканов, составляет обыкновенную порцию для одного.

Может быть, странным покажется, что я так распространяюсь о мелочах. Но солдатская походная жизнь так тяжела, в ней столь-

ко лишений и мучений, впереди так мало надежды на хороший исход, что и какой-нибудь чай или тому подобная маленькая роскошь составляли огромную радость. Нужно было видеть, с какими серьезными и довольными лицами загорелые, грубые и суровые солдаты, молодые и старые, — правда, старше сорока лет между нами почти не было, — точно дети, подкладывали под котелки палочки и стельки, поправляли огонь и советовали друг другу:

— Ты, Лютиков, туды, туды, к краю ее суй! Так!.. пошла, пошла... занялась. Ну, сейчас закипит!

Чай, изредка, в холодную и дождливую погоду, чарка водки да трубка табаку — вот и вся солдатская отрада, не считая, конечно, всеисцеляющего сна, когда можно забыться и от телесных невзгод и от мыслей о темном, страшном будущем. Табак играл не последнюю роль среди этих благ жизни, возбуждая и поддерживая утомленные нервы. Туго набитая трубка обходила человек десять и возвращалась к хозяину, который затягивался в последний раз, выколачивал золу и важно пря-

гал трубку за голенище. Помню, как огорчила меня потеря моей трубки одним из приятелей, которому я дал ее покурить, и как сам он был огорчен и пристыжен. Точно будто он потерял целое врученное ему состояние.

На большом привале (около полудня) мы отдыхали часа полтора-два. После чаепития обыкновенно все засыпало. На бивуаке тишина; только часовой у знамени ходит взад и вперед, да не спит кое-кто из офицеров. Лежишь на земле, положив ранец под голову, и не то спишь, не то бодрствуешь; горячее солнце палит лицо и шею, мухи надоедливо кусают и не дают уснуть как следует. Грезы мешаются с действительностью; так недавно еще жил жизнью, совершенно непохожей на эту, что в полубессознательной дремоте все кажется, что вот-вот проснешься, очнешься дома в привычной обстановке, и исчезнет эта степь, эта голая земля, с колючками вместо травы, это безжалостное солнце и сухой ветер, эта тысяча странно одетых в белые запыленные рубахи людей, эти ружья в козлах. Все это так похоже на тяжелый, странный сон...



— Встава-а-ть! — протяжно и сурово командует сильным голосом наш маленький бородатый батальонный командир, майор Черноглазов.

И лежащая толпа белых рубах шевелится; кряхтя и потягиваясь, поднимаются люди, надевают сумки и ранцы и выстраиваются в ряды.

— В ружье!

Мы разбираем ружья. До сих пор хорошо помню я свою винтовку № 18635, с прикладом немного темнее, чем у других, и длинной цапапиной по темному лаку. Еще команда — и батальон, вытягиваясь, поворачивает на дороге. Впереди всех ведут коня командира, гнедого жеребца Варвара; он выгибает шею, и играет, и бьет копытами; майор садится на него только в крайних случаях, постоянно шагая во главе батальона за своим Варваром ровным шагом настоящего пехотинца. Он показывает солдатам, что и начальство тоже «старается», и солдаты любят его за это. Он всегда хладнокровен и спокоен, никогда не шутит и не улыбается; подымается утром раньше всех, ложится вечером последним; обращается с

людьми твердо и сдержанно, не позволяя себе драться и кричать без толку. Говорят, что если бы не майор, то Венцель не то бы еще делал.

Сегодня жарко, но не так, как вчера. К тому же мы идем уже не по шоссе, а рядом с железной дорогой, по узкому проселку, так что большая часть движется по траве. Пыли нет; набегают тучи: нет-нет — да и капнет редкая крупная капля. Мы смотрим на небо, выставляем руки, пробуя, не идет ли дождь. Даже вчерашние отсталые приободрились; идти уже недалеко, каких-нибудь десять верст, а там отдых, вождеденный отдых, в котором пройдет не одна короткая ночь, а ночь, целый день и еще ночь. Развеселившимся людям хочется петь; Федоров заливается среди песенников: слышна знаменитая:

*И было дело под Полтавой...*

Пропев, как «вдруг одна злодейка-пуля в шляпу царскую впилась», он затягивает бессмысленную и непристойную, но самую популярную у солдат песню о том, как какая-то Лиза, пойдя в лес, нашла черного жука и что

из этого вышло. Затем еще историческая песня про Петра, как его требуют в сенат. И в довершение всего доморощенная песня нашего полка:

*Как приехал белый царь, Алек-  
сандра государь,  
Вы, ребята, подтянитесь, пред ца-  
рем подбодритесь!  
Мы приемы отхватали, благодар-  
ность получали.*

*Батальонный командир, Черно-  
глазов господин,  
Он не спал, не дремал, батальон  
свой обучал,  
Он на лошади сидел, никого знать  
не хотел.*

И так далее, стихов пятьдесят.

— Федоров! — спросил я однажды. — Зачем вы несете эту чепуху об Лизе? — Я назвал еще несколько песен, нелепых и циничных до такой степени, что самый цинизм их терял всякое значение и являлся в виде совершенно бессмысленных звуков.

— Повелось так, Владимир Михайлыч. Да что! Разве это пенье? Это так, вроде крику для

моциону груди. Ну, и идти веселей.

Устанут песенники, начнут играть музыканты. Под мерный, громкий и большею частью веселый марш идти гораздо легче; все, даже самые утомленные, приосанятся, отчетливо шагают в ногу, сохраняют равнение: батальон узнать нельзя. Помню, однажды мы прошли под музыку больше шести верст в один час, не замечая усталости; но когда измученные музыканты перестали играть, вызванное музыкою возбуждение исчезло, и я почувствовал, что вот-вот упаду, да и упал бы, не случись вовремя остановка на отдых.

Верст через пять после привала нам встретилось препятствие. Мы шли долиною какой-то речки; с одной стороны были горы, с другой — узкая и довольно высокая насыпь железной дороги. Недавно прошедшие дожди затопили долину, образовав на нашем пути большую лужу, сажен в тридцать шириною. Полотно железной дороги возвышалось на ней плотиною, и нам пришлось проходить по нем. Будочник железной дороги пропустил первый батальон, который благополучно перребрался на ту сторону лужи, но затем объ-

явил, что через пять минут пройдет поезд и что нам нужно ждать. Мы остановились и только что составили ружья, как на повороте дороги показалась знакомая коляска бригадного генерала.

Наш бригадный генерал был человек бравый. Горла, подобного тому, которым он владел, мне никогда не случалось встречать ни на оперных сценах, ни в архиерейских хорах. Раскаты его баса гремели в воздухе подобно трубному звуку, и его крупная, тучная фигура с красной толстой головой, сизыми огромными, развевающимися по ветру бакенбардами, с черными толстыми бровями над маленькими, блестящими, как угли, глазами, когда он, сидя на коне, командовал бригадой, была самая внушительная. Однажды, на Ходынском поле в Москве, во время каких-то военных упражнений, он выказал себя до такой степени воинственным и бравым, что привел в совершенный восторг стоявшего в толпе старого мещанина, который при этом воскликнул:

— Молодчага! Нам таких и надо!

С тех пор за генералом навсегда утвердилось прозвание «молодчаги».

Он мечтал о подвигах. Несколько томиков по военной истории сопровождали его во весь поход. Любимым разговором его с офицерами была критика наполеоновских кампаний. Об этом я, конечно, знал только по слухам, так как очень редко видывал нашего генерала; большею частью он обгонял нас на середине перехода, в своей коляске, запряженной хорошею тройкою, приезжал на место ночлега, занимал квартиру и оставался там до позднего утра, а днем снова обгонял нас, причем солдаты всегда обращали внимание на степень багровости его лица и большую или меньшую хриплость, с какою он оглушительно кричал нам:

— Здорово, старобельцы!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — отвечали солдаты и при этом прибавляли: — Опохмеляться едет молодчага!

И генерал проезжал дальше, иногда без всяких последствий, а иногда задав громopodobную головомойку какому-нибудь ротному командиру.

Завидев остановившийся батальон, генерал подлетел к нам и выскочил из коляски

так скоро, как только позволяла ему его тучность. Майор быстро подошел к нему.

— Что такое? Почему остановились? Кто позволил?

— Ваше превосходительство, залило дорогу, а по полотну сейчас должен пройти поезд.

— Залило дорогу? Поезд? Вздор! Вы приучаете солдат нежничать! Вы делаете из них баб! Без приказа не останавливаться! Я вас, милостивый государь, под арест...

— Ваше превосходительство...

— Не рассуждать!

Генерал грозно повел глазами и обратил свое внимание на другую жертву.

— Это что такое? Почему командир второй стрелковой роты не на месте? Штабс-капитан Венцель, пожалуйста сюда!

Венцель подошел. На него полился поток генеральского гнева. Я слышал, как он пробовал что-то ответить, возвысив голос, но генерал заглушил его, и можно было только догадаться, что Венцель сказал что-то непочтительное.

— Рассуждать?! Грубить?! — гремел генерал. — Молчать! Снимите с него саблю. К де-

нежному ящичку, под арест! Пример людям... Струсили лужи! Ребята, за мной! По-суворовски!

Генерал быстро прошел мимо батальона к воде неловкою походкой человека, долго ехавшего в экипаже.

— За мной, ребята! По-суворовски! — повторил он и пошел в своих лакированных ботфортах в воду.

Майор с злобным выражением в лице оглянулся назад и пошел рядом с генералом. Батальон тронулся за ними. Воды сначала было по колено, потом по пояс, потом еще выше, высокий генерал шел свободно, но маленький майор уже барахтался руками. Солдаты, точно гурьба овец во время перегона через реку, толкались, вязли в размокшем дне, вырывая ноги, метались из стороны в сторону. Ротные командиры и батальонный адъютант, ехавшие верхом, которым можно было бы весьма удобно переехать через лужу, видя перед собой пример генерала, подъезжали к ней, спешивались и, ведя лошадей на поводу, вступали в грязную, взбудораженную сотнями солдатских ног воду. Наша рота, состояв-



шая из самых высоких в батальоне людей, переходила довольно удобно, но шедшая рядом с нами малорослая восьмая рота, где были все люди двух-четырех вершков, едва брела по уши в воде; некоторые даже захлебывались и хватались за нас. Маленький солдатик-цыган, с побледневшим лицом и широко раскрытыми черными глазами, ухватил дядю Житкова за шею обеими руками, бросив свое ружье; к счастью для цыгана, кто-то подхватил на лету казенное оружие и спас его от потопления. Сажень через десять лужа стала мельче, и все уже в безопасности спешили поскорее выбраться, толкались и ругались. У нас многие смеялись; солдатам восьмой роты было не до смеха: лица у многих посинели не от одного холода. Сзади напирала стрелка.

— Ну, карапузы, выбирайся! Потопли! — кричали они.

— Очень просто, что потонуть можно, — отзывались в восьмой роте. — Ему хорошо идти: ишь, только баки свои замочил. Ерой выискался! Тут народ перетопить можно.

— А ты бы ко мне в котелок сел. Сухоньким бы доставил.

— То-то и есть, братец, что не в догадку было, — благодушно отвечал на насмешку маленький солдатик.

Виновник всей этой суматохи, уже успевший вытащить ноги из вязкого дна и выйти из воды, величественно стоял на берегу, смотря на барахтавшуюся в воде массу людей. Он промок до последней нитки и действительно замочил себе и длинные баки. Вода текла по его одежде; полные воды лакированные голенища раздулись, а он все кричал, поощряя солдат:

— Вперед, ребята! По-суворовски!

Мокрые офицеры с мрачными лицами толпились вокруг него. Тут стоял и Венцель с искаженным лицом и уже без сабли. Между тем генеральский кучер, походив у берега и посовав в воду кнутовищем, сел на козлы и благополучно переехал через воду немного в стороне от того места, где перешли мы; воды едва хватало по оси коляски.

— Вот где, ваше превосходительство, переходить нужно было, — спокойно сказал майор. — Прикажете людям обсушиться?

— Конечно, конечно, Сергей Николае-

вич, — мирно ответил генерал.

Холодная вода охладила его пыл. Он влез в коляску, сначала сел, потом опять встал и закричал во всю мочь своего богатырского голоса:

— Спасибо, старобельцы! Молодцами!

— Рады стараться, ваше превосходительство! — нестройно грянули солдаты.

И мокрый генерал уехал вперед.

Солнце стояло еще высоко: идти оставалось только пять верст; майор сделал большой привал. Мы разделись, развели костры, обсушили платье, сапоги, ранцы, сумки, часа через два тронулись в путь, уже со смехом вспоминая купанье.

— А Венцеля-то молодчага под арест отправил! — сказал, между прочим, Федоров.

— Ничего, пущай его за денежным ящиком денька два походит, — отвечали сзади из стрелковой роты.

— Тебе-то что?

— Мне-то? Не то что мне, а всей роте легче. Хоть на два дня отдохнем. Мочи от него нет — вот мне что.

— Терпи, казак, атаман будешь.

— Терпеть надо, а атаманами-то уж разве на том свете будем, — проговорил Житков по обыкновению мрачным голосом. — Ежели турка подстрелит.

— А вы, дяденька, в отчаянность не впадайте. Вы то подумайте: вот мы с вами обсушились, сухонькие идем, а молодчага-то сырой катит, — сказал Федоров, и кругом все рассмеялись.

Мы шли все рядом с железной дорогой; поезда, наполненные людьми, лошадьми и припасами, постоянно обгоняли нас. Солдаты с завистью смотрели на проносившиеся мимо нас товарные вагоны, из открытых дверей которых выглядывали лошадиные морды.

— Ишь ты, лошадям честь какая! А мы иди!

— Лошадь глупа, она с тела спадет, — резонерствовал на это Василий Карпыч. — А ты на то человек есть, чтобы себя соблюсти как следует.

Однажды на привале к начальству прискакал казак с важным известием. Нас подняли и выстроили без ранцев и без оружия, в одних белых рубашках. Никто из нас не знал, зачем это делается. Офицеры осмотрели людей; Венцель, по обыкновению, кричал и ругался, дергая за дурно надетые кушаки и с пинками приказывая оправить рубахи. Потом нас повели к полотну железной дороги, и после довольно долгих построений полк вытянулся в две шеренги вдоль пути. На версту

протянулась белая линия рубах.

— Ребята! — закричал майор. — Государь император проедет!

И мы начали ждать государя. Наша дивизия была довольно глухая, стоявшая вдали и от Петербурга и от Москвы. Из солдат разве только одна десятая часть видела царя, и все ждали царского поезда с нетерпением. Прошло полчаса; поезд не шел; людям позволили присесть. Начались рассказы и разговоры.

— Остановится? — спросил кто-то.

— Держи карман! Для каждого полка останавливаться! Поглядит на нас из окошечка, и то ладно.

— И не разберем, братцы, который: генералов-то с ним много едет.

— Я-то разберу. Я его на Ходынке в позапрошедшем году вот как видел.

И солдат протянул руку, чтобы показать, как близко он видел государя.

Наконец после двухчасового ожидания вдали показался дымок. Полк встал и выровнялся. Сначала прошел поезд с прислугою и кухнею. Повара и поваренки в белых колпаках выглядывали на нас из окон и чему-то

смеялись. Саженьях в двухстах шел царский поезд; машинист, видя выстроившийся полк, убавил хода, и вагоны, медленно громыхая, проходили перед глазами, жадно смотревшими на окна. Но все они были завешены: казак и офицер, стоящие на площадке заднего вагона, были единственные люди на поезде, которых мы увидели. Мы посмотрели на уходивший быстрее и быстрее поезд, постояли еще минуты три и пошли на бивуак. Солдаты были разочарованы и выражали огорчение.

— В кои-то веки теперь его увидим!

Но мы увидели его скоро. Перед Плоешти нам сказали, что в этом городе нас будет смотреть государь.

Мы проходили перед ним, как были с похода, в тех же грязных белых рубахах и штанах, в тех же побуревших и запыленных сапогах, с теми же безобразно навьюченными ранцами, сухарными сумками и бутылками на веревочках. Солдат не имел в себе ничего щегольского, молодецкого или геройского; каждый был больше похож на простого мужика, только ружье да сумка с патронами показывали, что этот мужик собрался на войну. Нас построили

в узкую колонну по четыре человека в шеренге: иначе нельзя было идти по узким улицам города. Я шел сбоку, старался больше всего не сбиться с ноги, держать равнение и думал о том, что если государь со своей свитой будет стоять с моей стороны, то мне придется пройти перед его глазами и очень близко от него. Только взглянув на шедшего рядом со мною Житкова, на его лицо, как и всегда, суровое и мрачное, но взволнованное, я почувствовал, что и мне передается часть общего волнения, что сердце у меня забилося сильнее. И мне вдруг показалось, что от того, как посмотрит на нас государь, зависит для нас все. Когда мне впоследствии пришлось идти в первый раз под пули, я испытал чувство, близкое к этому.

Люди шли быстрее и быстрее, шаг становился больше, походка свободнее и тверже. Мне не нужно было приноравливаться к общему такту: усталость прошла. Точно крылья выросли и несли вперед, туда, где уже гремела музыка и раздавалось оглушительное «ура!». Не помню улиц, по которым мы шли, не помню, был ли народ на этих улицах, смот-



рел ли на нас; помню только волнение, охватившее душу, вместе с сознанием страшной силы массы, к которой принадлежал и которая увлекала тебя. Чувствовалось, что для этой массы нет ничего невозможного, что поток, с которым вместе я стремился и которого часть я составлял, не может знать препятствий, что он все сломит, все исковеркает и все уничтожит. И всякий думал, что тот, перед которым проносился этот поток, может одним словом, одним движением руки изменить его направление, вернуть назад или снова бросить на страшные преграды, и всякий хотел найти в слове этого одного и в движении его руки неведомое, что вело нас на смерть. «Ты ведешь нас, — думал каждый, — тебе мы отдаем свою жизнь; смотри на нас и будь покоен: мы готовы умереть».

И он знал, что мы готовы умереть. Он видел страшные, твердые в своем стремлении ряды людей, почти бегом проходивших перед ним, людей своей бедной страны, бедно одетых, грубых солдат. Он чуял, что все они шли на смерть, спокойные и свободные от ответственности. Он сидел на сером коне, недвиж-

но стоявшем и насторожившем уши на музыку и бешеные крики восторга. Вокруг была пышная свита; но я не помню никого из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека на сером коне, в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное, истомленное лицо, истомленное сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми, блестящими каплями; помню судорожное движение руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорящие что-то, должно быть приветствие тысячам молодых погибающих жизней, о которых он плакал. Все это явилось и исчезло, как освещенное на мгновение молнией, когда я, задыхаясь не от бега, а от нечеловеческого, яростного восторга, пробежал мимо него, подняв высоко винтовку одной рукой, а другой — махая над головой шапкой и крича оглушительное, но от общего вопля не слышное самому мне «ура!».

Все это промелькнуло и исчезло. Пыльные улицы, залитые палящим зноем; измученные возбуждением и почти беглым шагом на про-

странстве целой версты солдаты, изнемогающие от жажды; крик офицеров, требующих, чтобы все шли в строю и в ногу, — вот все, что я видел и слышал пять минут спустя. И когда мы прошли еще версты две душным городом и пришли на выгон, отведенный нам под бивуак, я бросился на землю, совершенно разбитый и телом и душою.

## VI

Трудные переходы, пыль, жара, усталость, сбитые до крови ноги, коротенькие отдыхи днем, мертвый сон ночью, ненавистный рожок, будящий чуть свет. И всё поля, поля, не похожие на родные, покрытые высокою зеленою, громко шелестящею длинными шелковистыми листьями кукурузой или тучной пшеницей, уже начинавшей кое-где желтеть.

Те же лица, та же полковая походная жизнь, те же разговоры и рассказы о доме, о стоянке и губернском городе, пересуды об офицерах.

О будущем говорили редко и неохотно. Зачем шли на войну — знали смутно, несмотря на то, что целые полгода простояли недалеко от Кишинева, готовые к походу; в это время можно было бы объяснить людям значение готовящейся войны, но, должно быть, это не считалось нужным. Помню, раз спросил меня солдат:

— А что, Владимир Михайлыч, скоро ли в бухарскую землю придем?

Я подумал сначала, что ослышался, но ко-

гда он повторил вопрос, ответил, что бухарская земля за двумя морями, что до нее тысячи верст и что вряд ли мы когда-нибудь попадем туда.

— Нет, Михайлыч, вы не так теперь говорите. Мне писарь сказывал. Перейдем, говорит, через Дунай, тут сейчас и будет бухарская земля.

— Так не бухарская — болгарская! — воскликнул я.

— Ну, бургарская, бухарская, как там ее повашему; не все одно, что ли?

И он замолчал, видимо недовольный.

Знали мы только, что турку бить идем, потому что он много крови пролил. И хотели побить турку, но не столько за эту, неизвестно чью пролитую кровь, сколько за то, что он потревожил такое множество народа, что из-за него пришлось испытывать трудный поход («которую тысячу верст до него, поганого, тащимся!»); билетным солдатам побросать дома и семьи, а всем вместе идти куда-то под пули и ядра. Турка представлялся бунтовщиком, зачинщиком, которого нужно усмирить и покорить.

Гораздо больше, чем войной, мы занимались своими семейными — полковыми, батальонными и ротными — делами. В нашей роте все было тихо и спокойно; у стрелков дела шли хуже и хуже. Венцель не унимался; скрытое негодование росло, и после одного случая, которого и теперь, через пять лет, я не могу вспомнить без тяжелого волнения, дошло до настоящей ненависти.

Мы только что прошли какой-то город и вышли на луг, где уже расположился шедший впереди нас первый полк. Местечко было хорошее: с одной стороны река, с другой — старая чистая дубовая роща, вероятно место гулянья для жителей городка. Был хороший теплый вечер; солнце садилось. Полк стал; составили ружья. Мы с Житковым начали натягивать палатку; поставили столбики; я держал один край полы, а Житков палкой забивал колышек.

— Туже, туже держи, Михайлыч! (Он уже несколько дней тому назад начал говорить мне «ты».) Вот так, так.

Но в это время сзади слышались какие-то странные мерные, плескающие звуки.

Я обернулся.

Стрелки стояли во фронте. Венцель, что-то хрипло крича, бил по лицу одного солдата. С помертвелым лицом, держа ружье у ноги и не смея уклоняться от ударов, солдат дрожал всем телом. Венцель изгибался своим худым и небольшим станом от собственных ударов, нанося их обеими руками, то с правой, то с левой стороны. Кругом все молчали; только и было слышно плесканье да хрипкое бормотанье разъяренного командира. У меня потемнело в глазах, я сделал движение. Житков поднял его и изо всех сил дернул за полотнище.

— Держи, черт безрукий! — закричал он и выругал меня самыми скверными словами. — Отсохли, что ли, руки-то? Куда смотришь? Чего не видал?

Удары сыпались. По верхней губе и подбородку солдата текла кровь. Наконец он упал. Венцель отвернулся, окинул глазами всю роту и закричал:

— Если еще кто-нибудь посмеет курить во фронте, хуже избыю каналью. Поднять его, обмыть рожу и положить в палатку. Пусть отлежится. Составь! — скомандовал он роте.

Руки у него тряслись, были красны, пухлы и в крови. Он вынул платок, вытер руки и пошел прочь от составлявших ружья в козлы и тяжело молчавших солдат. Несколько человек, глухо переговариваясь, возились около избитого и поднимали его. Венцель шел нервной, измученной походкой; он был бледен, глаза его блистали; по игравшим мускулам видно было, как он стискивал зубы. Он прошел мимо нас и, встретив мой упорный взгляд, неестественно насмешливо улыбнулся одними тонкими губами и, прошептав что-то, пошел дальше.

— Кровопивец! — с ненавистью в голосе сказал Житков. — А ты, барин, тоже!.. Чего лезть? Под расстрел угодить хочешь? погоди, найдут и на него управу.

— Жаловаться пойдут? — спросил я. — Кому?

— Нет, не жаловаться. В действии тоже будем...

И он проворчал что-то почти про себя. Я боялся понять его. Федоров, уже успевший потолкаться между стрелками и расспросить, в чем дело, вернулся к нам.



— Ни за что людей терзает, — сказал он. — Как шли на походе, солдатик этот, Матюшкин, цыгарку курил. Стали — он ружье взял к ноге, а цыгарка между пальцами; забыл, видно, на свою голову. Венцель и доглядел.

— Зверь! — добавил он печально, укладываясь под готовую уже палатку. — И цыгарка-то уж потухла, видно, что забыл, бедняга!

### Х Х Х

Через несколько дней мы пришли в Александрию, где собралось очень много войск. Еще сходя с высокой горы, мы видели огромное пространство, пестревшее белыми палатками, черными фигурами людей, длинными коновязями и блестящими кое-где рядами медных пушек и зеленых лафетов и ящичков. По улице города ходили целые толпы офицеров и солдат.

Из открытых окон тесных и грязных гостиниц слышалась заунывная и удалая венгерская музыка, звон посуды и шумные разговоры; лавки были набиты русскими покупателями. Не понимающие друг друга наши солдаты, румыны, немцы и жида громко кричали; спор из-за курса бумажного рубля слы-

шался на каждом шагу.

— Ты что мне «доу галаган»[1], черномазый черт? Гривенник давай! Эй ты, домнул! [2]

— *Унде эште пошта?*[3] — преувеличенно вежливо прикладывая руку к козырьку кепи, спрашивает щеголя-румына офицер, вооруженный «военным переводчиком» — книжкой, которою тогда были снабжены войска. Румын объясняет ему; офицер перелистывает книжку, ища непонятных слов, и ничего не понимает, но вежливо благодарит.

— Тьфу, братцы, что за народ! И попы наши, и церкви наши, а понятия ни к чему у них нет! Руп серебряный хошь? — кричит что есть мочи солдат с рубахой в руках румыну, торгующему в открытой лавке. — За рубаху? *Патру франку?* Четыре франка?

Он вынимает монету, показывает ее, и дело кончается к общему удовольствию.

— Сторонись, сторонись, земляки, генерал идет!

Высокий молодой генерал, в щегольском сюртуке, высоких сапогах и с нагайкой на ремне через плечо, быстро проходит по ули-

це. За ним в нескольких шагах идет ординарец, маленький азиат в цветном халате и чалме, с огромной шашкой и револьвером у пояса. Генерал, высоко держа голову и равнодушно-весело смотря на расступающихся и отдающих честь солдат, проходит в гостиницу. Здесь, в уголку, приютились и мы с Иваном Платонычем и Стебельковым, поглощая какое-то местное кушанье, состоящее из красного перца с мясом. Ободранная комната, уставленная столиками, полна народа. Звон посуды, хлопанье пробок, трезвые и пьяные голоса — все покрывается оркестром, приютившимся в чем-то вроде ниши, украшенной кумачными занавесками. Музыкантов пятеро: две скрипки пилят с остервенением, виолончель вторит однообразными густыми нотами, контрабас ревет, но все эти инструменты составляют только фон для пятого. Черномазый кудрявый венгерец, почти мальчик, сидит впереди всех, за широкий воротник бархатной куртки у него всунут странный инструмент, древняя цевница, точно такая, с какою рисуют Пана и фавнов. Это ряд неравных деревянных трубочек, сложенных

вместе, так что открытые концы их приходятся против губ артиста. Венгерец, вертя головой то в ту, то в другую сторону, дует в эти трубки и извлекает сильные мелодические звуки, не похожие ни на флейту, ни на кларнет. Самые хитрые и трудные пассажи проделывает он, трясая и вертя головой; черные жирные волосы прыгают на его голове и падают на лоб; лицо потно и красно, на шее надулись жилы. Видно было, что ему нелегко... На нестройном фоне струнных инструментов звуки цевницы вырисовывались резко, отчетливо и дико-красиво.

Генерал занял место за столом знакомых ему офицеров, поклонился всем вставшим при его приходе и громко сказал: «Садитесь, господа!» — что относилось к нижним чинам. Мы молча кончили обед; Иван Платоныч приказал подать красного румынского вина и после второй бутылки, когда лицо у него повеселело и щеки и нос приняли яркий оттенок, обратился ко мне:

— Вы, юноша, скажите мне... Помните, большой переход был?

— Помню, Иван Платоныч.

— Вы тогда с Венцелем говорили?

— Говорил.

— Вы схватили его за руку? — спросил капитан неестественно серьезным тоном.

И когда я ответил, что действительно схватил, испустил продолжительный и шумный вздох и беспокойно замигал глазами.

— Скверно вы сделали... Глупо вы сделали! Видите ли, я не выговор хочу вам делать. Вы сделали прекрасно... то есть противно дисциплине... Черт знает, что я несу! Вы меня извините...

Он замолчал, смотря в пол и отдуваясь. Я тоже молчал. Иван Платоныч отхлебнул полстакана и хлопнул меня по коленке.

— Дайте мне обещание, что больше не делаете такой выходки. Я понимаю сам... Свежему человеку трудно. Ну что же вы с ним делаете? Этакая бешеная собака этот Венцель! Ну, видите ли...

Иван Платоныч, видимо, не находил слов и, сделав долгую паузу, снова прибег к стакану.

— То есть, видите ли... он хороший человек в сущности. Это у него блажь какая-то,

черт его знает. Вы сами видели, я тоже недавно ткнул солдата. Легонько. Ну, если дурак не понимает своей собственной пакости, знаете, дерево этакое... Но ведь я, Владимир Михайлыч, как отец. Ей-богу, без злобы, хоть и распалишься иногда. А тот — в систему возвел. Эй, ты! — крикнул он румыну-лакею. — *Oште вин негру!* Еще вина! — И когда-нибудь под суд попадет; а то еще хуже будет: обозлятся люди и в первом же деле... Жаль будет, потому что все-таки человек, знаете, хороший. И даже теплый человек.

— Ну! — протянул Стебельков. — Какой теплый человек будет так драться!

— Вы посмотрели бы, Иван Платоныч, что ваш теплый человек недавно наделал.

И я рассказал капитану, как Венцель избил солдата за цыгарку.

— Ну, вот, вот... всегда так! — Иван Платоныч краснел, пыхтел, останавливался и снова начинал говорить. — Но все-таки он не зверь. У кого люди лучше всех накормлены? У Венцеля. У кого лучше выучены? У Венцеля. У кого почти нет штрафованных? Кто никогда не отдаст под суд — разве уж очень крупную па-

кость солдат сделает? Все он же. Право, если бы не эта несчастная слабость, его солдаты на руках бы носили.

— Говорили вы с ним об этом, Иван Платоныч?

— Говорил и ссорился десять раз. Что с ним поделаешь! «Или, говорит, войско, или милиция». Фразы все какие-то глупые выдумывает. «Война, говорит, такая жестокость, что если я жесток с солдатами, то это капля в море... Они, говорит, стоят на такой низкой степени развития»... Одним словом, черт знает что такое! А между тем прекрасный человек. Не пьет, в картишки не играет, дело ведет добросовестно, старику отцу и сестре помогает, товарищ прекрасный! И образованный человек! Другого такого в полку нет. И попомните мое слово: или под суд попадет, или те (он кивнул головой к окну) рассудят. Скверно. Так-то, любезнейший мой рядовой.

Иван Платоныч ласково потрепал меня по погону; потом полез в карман, достал табачницу и начал свертывать толстейшую папиросу. Вложив ее в огромный мундштук с янтарем и надписью чернью по серебру: «Кавказ»,

а мундштук в рот, он молча сунул табачницу мне. Мы закурили все трое, и капитан начал снова:

— Иногда, точно, бывает: нельзя не потрепать. Ведь они вроде детей. Балунова знаете?

Стебельков вдруг расхохотался.

— Ну, ну, чего, Стебелек! — проворчал Иван Платоныч. — Старый солдат, штрафованный. Он двадцатый год служит: все за разные провинности не отпускают. Ну, так вот он, шельма... Вас еще не было тогда: перед Кишиновом раз выходили мы из деревни. Приказало начальство осмотреть у всех вторые пары сапог. Выстроил я их, хожу сзади и смотрю, торчат ли из ранцев головки. У Балунова нет. «Где сапоги?» — «В ранец для сохранения вложил, ваше благородие». — «Врешь!» — «Никак нет, ваше благородие: чтоб не мокли, в ранце находятся!» Бойко так отвечает, бестия. «Снимай ранец, расстегивай». Вижу, не расстегивает и тащит голенищи из-под крышки. «Расстегивай!» — «Я, ваше благородие, и так выну». Однако заставил я его расстегнуть. Что ж вы думаете? Тащит из ранца за уши поросенка живого! И рыльце веревочкой завяза-



но, чтобы не визжал! Правой рукой под козырек, рожу этакую почтительную скорчил, а левой поросенка держит. Стадил, подлец, у молдаванки. Ну, конечно, я его тут легонько ткнул!

Стебельков покатывался от хохота и едва выговорил:

— Да чем!.. Ткнул-то, Иванов, поросенком. Ох-хо-хо!.. Выхватил поросенка, да им!..

— Неужели без этого нельзя обойтись, Иван Платоныч?

— Ах, вы! Досадно, право, слушать. Не под суд же мне его было отдавать!

## VII

Ночью с 14 на 15 июня Федоров разбудил меня.

— Михайлыч, слышите?

— Что такое?

— Пальба. Дунай переходят.

Я начал прислушиваться. Дул сильный ветер, гнавший низкие черные тучи, заслонявшие месяц; он налетал на полотно, с шумом шлепал его, гудел в веревках и тонко высвистывал где-то в ружейных козлах. Сквозь эти звуки иногда слышались глухие удары.

— Народу-то теперь что валится... — вздохнув, прошептал Федоров. — Нас поведут или нет? Как полагаете? Ухает-то как! Будто гром!

— Может быть, и в самом деле гроза?

— Нет! Какая гроза! Очень уж правильно. Слышите? Одна за одной, одна за одной.

Удары действительно раздавались правильно, через известные промежутки времени. Я вылез из-под палатки и стал смотреть по направлению выстрелов. Вспышек огня не было видно. Иногда напряженным глазам мерещился свет в той стороне, откуда гремели

пушки, но это только обман.

«Вот оно наконец!» — подумалось мне.

И я старался представить себе, что делается там, в темноте. Мне чудилась широкая черная река с обрывистыми берегами, совершенно не похожая на настоящий Дунай, каким я его увидел потом. Плывут сотни лодок; эти мерные частые выстрелы — по ним. Много ли уцелеет их?

Холодная дрожь пробежала у меня по телу. «Хотел бы ты быть там?» — невольно спросил я сам себя.

Я посмотрел на спящий лагерь; все было спокойно; между далеким громом орудий и шумом ветра слышалось мирное храпение людей. И страстно захотелось мне вдруг, чтобы всего *этого* не было, чтобы поход протянулся еще, чтобы этим спокойно спящим, а вместе с ними и мне, не пришлось идти туда, откуда гремели выстрелы.

Иногда канонада становилась сильнее; иногда мне смутно слышался менее громкий, глухой шум. «Это стреляют ружейными залпами», — думал я, не зная, что до Дуная еще двадцать верст и что болезненно настроен-

ный слух сам создавал эти глухие звуки. Но, хотя и мнимые, они все-таки заставляли воображение работать и рисовать страшные картины. Чудились крики и стоны, представлялись тысячи валяющихся людей, отчаянное хриплое «ура!», атака в штыки, резня. А если отобьют и все это даром?

Темный восток посерел; ветер стал утихать. Тучи разошлись; умирающие звезды виднелись кое-где на побледневшем зеленоватом небе. Начало светать; в лагере кое-кто проснулся, и услышавшие звуки сражения будили других. Говорили мало и тихо. Неизвестность близко подошла к людям: никто не знал, что будет завтра, и не хотел ни думать, ни говорить об этом завтрашнем дне.

Я заснул на рассвете и проснулся довольно поздно. Пушки продолжали глухо греметь, и хотя никаких известий с Дуная не было, между нами ходили слухи, один другого невероятнее. Одни говорили, что наши уже перешли и гонят турок, другие — что переправа не удалась, что уничтожены целые полки.

— Которых потопили, которых перестреляли, — заговорил кто-то.

— А ты ври больше, — оборвал его Василий Карпыч.

— Зачем мне врать, ежели правда.

— Правда! Тебе кто сказал?

— Чего?

— Правду-то? Откедова слышал? Мы все знаем: пальба идет, и больше ничего.

— Все говорят. К генералу казак...

— Казак! Ты видел казака-то? Какой он из себя есть, казак-то твой?..

— Казак, обыкновенно... какой казак должен быть.

— То-то должен! Язык-то у тебя — бабья баболовка. Сидел бы да молчал. Никого не было, неоткуда и знать.

Я пошел к Ивану Платонычу. Офицеры сидели совсем готовые, застегнутые и с револьверами на поясе. Иван Платоныч был, как и всегда, красен, пыхтел, отдувался и вытирал шею грязным платком. Стебельков волновался, сиял и для чего-то нафабрил свои, прежде висевшие вниз, усики, так что они торчали острыми кончиками.

— Вот прапорщик-то наш! Расфрантился перед делом, — сказал Иван Платоныч, под-

мигивая на него. — Ах, Стебелечек, Стебелечек! Жаль мне тебя! Не будет у нас в собрании таких усиков! Сломают тебя, Стебелечек, — говорил капитан шутливо-жалобным тоном. — Ну, что, не трусишь?

— Постараюсь не струсить, — бодрым голосом сказал Стебельков.

— Ну, а вам, воитель, страшно?

— Сам не знаю, Иван Платоныч... Оттуда ничего не слышно?

— Ничего. Господь знает, что там делается. — Иван Платоныч тяжело вздохнул. — В час выступаем, — добавил он, помолчав.

Пола палатки откинулась; адъютант Лукин просунул свое лицо, на этот раз серьезное и бледное.

— Вы здесь, Иванов? Приказано привести вас к присяге... Не сейчас, когда будем выступать. Иван Платоныч! Пятую пачку патронов людям.

Он отказался войти посидеть, говоря, что много дела, и побежал куда-то. Я тоже вышел.

Часам к двенадцати поспел обед. Люди ели плохо. После обеда приказали снять надульники (кожаные чехольчики) с ружей и розда-

ли добавочные патроны. Солдаты, готовясь к бою, начали осматривать свои ранцы и выбрасывать все лишнее. Бросали порванные рубахи и штаны, разные тряпки, старые сапоги, щетки, засаленные солдатские книжки; некоторые, как оказалось, донесли до Дуная в ранцах множество ненужных вещей. Я видел на земле брошенный «щелкун», то есть деревянную чурку, которую в мирное время перед парадами и смотрами разглаживают ремни амуниции, тяжелые каменные банки из-под помады, какие-то коробочки и дощечки и даже целую сапожную колодку.

— Бросай боле, ребята! Все легче в действие идти. Завтра уж не нужно будет.

— Пятьсот верст тащил... и на что мне она? — рассуждал солдат Лютиков, рассматривая какую-то тряпицу. — С собой не унесешь...

Выбрасывать вещи, очищать ранец в тот день вошло в моду. Когда мы сошли с места, на котором стояли, оно представлялось на темном фоне степи правильным четырехугольником, пестрым от множества тряпок и других вещей.

Перед походом, когда полк, уже совсем готовый, стоял и ждал команды, впереди собралось несколько офицеров и наш молоденький полковой священник. Из фронта вызвали меня и четырех вольноопределяющихся из других батальонов; все поступили в полк на походе. Оставив ружья соседям, мы вышли вперед и стали около знамени; незнакомые мне товарищи были взволнованы, да и у меня сердце билось сильнее, чем всегда.

— Возьмитесь за знамя, — сказал батальонный командир. Знаменщик наклонил знамя; его ассистенты сняли чехол. Старая, полинявшая зеленая шелковая ткань забила по ветру. Мы стали вокруг и, держа одной рукой древко, а другую поднимая вверх, повторяли слова священника, который читал с листа старинную петровскую военную присягу. Вспомнились мне слова Василия Карпыча на первом переходе. «Где же это?» — думал я. И после долгого перечисления случаев и мест службы его императорского величества: походов, наступлений, авангардий и ариергардий, крепостей, караулов и обозов, я услышал эти слова: «Не щадя живота», — громко повторил



ли все пятеро в один голос, и, глядя на ряды сумрачных, готовых к бою людей, я чувствовал, что это не пустые слова.

Мы вернулись в ряды; полк дрогнул, зашевелился и, вытянувшись в длинную колонну, форсированным шагом пошел к Дунаю. Выстрелы, доносившиеся оттуда, смолкли.

### **Х Х Х**

Как сквозь сон помню этот переход; пыль, поднимаемую обгонявшими нас на рысях казачьими полками, широкую степь, спускающуюся к Дунаю, другой синевший берег которого мы увидели верст за пятнадцать; усталость, жару, свалку и драку у встретившегося нам уже под Зимницею колодца; грязный маленький городок, наполненный войсками, каких-то генералов, махавших нам с балкона фуражками и кричавших «ура», на что мы отвечали тем же.

— Перешли! Перешли! — гудели вокруг голоса.

— Двести убитых, пятьсот раненых!

## VIII

Уже было темно, когда мы, сойдя с берега, перешли проток Дуная по небольшому мосту и пошли по низкому песчаному острову, еще мокрому от только что спавшей с него воды. Помню резкий лязг штыков сталкивавшихся в темноте солдат, глухое дребезжание обгонявшей нас артиллерии, черную массу широкой реки, огоньки на другом берегу, куда мы должны были переправиться завтра и где, я думал, завтра же будет новый бой.

«Лучше не думать, а уснуть», — решил я и улегся в пропитанный водой песок.

Солнце было уже высоко, когда я открыл глаза. На песчаном берегу толпились войска, обозы и парки; у самой воды уже успели выкопать батареи и ровики для стрелков; за Дунаем, на крутом берегу, можно было рассмотреть сады и виноградники, в которых копошились наши войска; за ними поднимались все выше и выше возвышенности, резко ограничивая горизонт. Вправо, версты за три от них, белело на холмах своими домами и минаретами Систово. Пароход, с баркой на бук-

сире, перевозил батальон за батальоном на ту сторону. У нашего берега шипел парами маленький миноносный катер.

— С благополучным переходом, Владимир Михайлыч! — весело поздравил меня Федоров.

— И вас также. Да только мы-то ведь еще не перешли?

— А вот сейчас пароход придет, заберет. Монитор турецкий, говорят, недалеко; вон этот самоварчик на него приготовлен. — Он показал на миноноску. — Побито народа что, господи! — продолжал он, изменив голос. — Уж возили-возили с той стороны...

И он рассказал мне всем известные подробности систовского боя.

— Теперь наш черед. Перейдем на тот бок — турки навалятся... Ну, все-таки вышла отсрочка: мы-то живы, а вот те... — Он кивнул на стоявшую недалеко кучку солдат и офицеров, столпившихся вокруг невидимого предмета, на который все они смотрели.

— Что это такое?

— Убитых наших оттуда привезли. Подите, посмотрите, Михайлыч, страсть-то какая.

Я подошел к кучке. Все, молча и сняв шапки, смотрели на лежавшие рядом на песке тела. Иван Платоныч, Стебельков и Венцель тоже были здесь. Иван Платоныч сердито нахмурился, кряхтели отдувался; Стебельков с наивным ужасом вытягивал из-за его плеча тонкую шею; Венцель стоял, глубоко задумавшись.

Лежавших на песке было двое. Один — рослый, красивый гвардеец Финляндского полка, из сборной гвардейской полуроты, той самой, которая потеряла во время атаки половину людей. Он был ранен в живот и, должно быть, долго мучился до смерти. Тонкий отпечаток чего-то одухотворенного, изящного и нежно-жалобного оставило страдание на его лице. Глаза были закрыты, руки сложены на груди. Сам ли он перед смертью принял это положение, или товарищи позаботились о нем? Его вид не возбуждал ужаса и отвращения, а только бесконечную жалость к погибшей, бившей ключом жизни.

Иван Платоныч нагнулся к труп и, взяв фуражку, лежавшую около головы, прочел на козырьке: «Иван Журенко, третьей роты».

— Хохол был, бедняга! — тихо сказал он.

И представилась мне родина, жаркий ветер в степи, слобода по оврагу, левады, заросшие вербами, беленькая мазанка с красными ставнями... Кто ждет там тебя?

Другой был армеец Волынского полка. Смерть застала его внезапно. Он бежал, разъяренный, в атаку, задыхаясь от крика; пуля ударила его в переносье, пронзила голову, оставив по себе черную зияющую рану. Так и лежал он с широко раскрытыми, теперь уже застывшими глазами, с открытым ртом и с искривленным яростью посинелым лицом.

— Рассчитались, — сказал Иван Платоныч. — Вчистую. Ничего им больше не нужно.

Он повернулся; солдаты торопливо расступились, чтобы пропустить его. Мы с Стебельковым пошли за ним. Венцель догнал нас.

— Вот, Иванов, — сказал он. — Видели?

— Видел, Петр Николаевич, — ответил я.

— Что ж вы думали, глядя на них? — сумрачно спросил он.

И во мне вдруг вспыхнула злоба против этого злого человека и желание сказать ему

что-нибудь тяжелое.

— Много. И больше всего о том, что они уже не пушечное мясо. Для них уже не нужно спайки и дисциплины; и никто не будет истязать их ради этой спайки. Они не солдаты, не подчиненные! — говорил я дрожащим голосом. — Они — люди!

Венцель блеснул глазами. Звук вылетел из его горла и прервался: должно быть, он хотел ответить мне, но сдержал себя и на этот раз. Он шел рядом со мной, потупив голову, и через несколько шагов, не смотря на меня, сказал:

— Да, Иванов, вы правы. Они люди... Мертвые люди.

# IX

Нас перевезли через Дунай; несколько дней мы стояли около Систова, ожидая турок; потом войска потянулись в глубь страны. Пошли и мы. Нас долго посылали то туда, то сюда: были мы и около Тырнова и недалеко от Плевны; но прошло три недели, а нам все еще не довелось драться. Наконец мы попали в особый отряд, обязанность которого была — сдерживать наступление большой турецкой армии. Сорок тысяч русских было растянуто на семьдесят верст; около ста тысяч турок стояло против них, и только осторожные действия нашего начальника, не рисковавшего людьми, а довольствовавшегося отпором наступающего неприятеля, да вялость турецкого паши позволили нам исполнить нашу задачу: не дать туркам прорваться и отрезать нашу главную армию от Дуная.

Нас было мало, линия наша была велика; поэтому нам редко приходилось отдыхать. Мы обошли множество деревень, являясь то там, то здесь, чтобы встретить предполагаемое нападение; мы забирались в такую глушь

Болгарии, что нас не находили транспорты с провиантом, и нам приходилось голодать, растягивая двухдневную порцию сухарей на пять и более дней. Голодавшие люди молотили недозрелую пшеницу палками на растянутых палатках, варили из нее и из кислых лесных яблок отвратительную похлебку без соли (потому что и ее было взять негде) и заболели от нее. Батальоны таяли, хотя и не были в деле.

В половине июля наша бригада, с несколькими эскадронами кавалерии и двумя батареями пушек, пришла в брошенную жителями, разоренную и полувывжженную турецкую деревню. Наш лагерь раскинулся на высокой, обрывистой горе; деревня была внизу, в глубине долины, по которой извивалась узенькая речка. Крутые, высокие скалы возвышались на другой стороне долины. То была, как мы думали, турецкая сторона, однако турок близко не было. Мы простояли несколько дней на нашей горе, почти без хлеба, с трудом доставая воду, за которой нужно было спускаться далеко вниз к ключу, бившему внизу из скалы. Мы были совершенно отделены от



армии и не знали, что делается на белом свете. Верст за пятнадцать впереди нас казаки содержали разъезды; две или три сотни их были растянуты на двадцать верст. Турок не было и там.

Несмотря на то, что мы не могли открыть неприятеля, наш маленький отряд принимал все меры осторожности. Днем и ночью стояла кругом лагеря густая аванпостная цепь. По условиям местности, ее линия была очень длинна, и каждый день несколько рот были заняты этой бездеятельной, но очень утомительной службой. Бездействие, почти постоянный голод, неизвестность положения дурно действовали на людей.

Околотки (полковые лазареты) были переполнены; каждый день отправляли ослабевших и измученных лихорадкою и кровавым поносом людей куда-то в дивизионный лазарет. В ротах было налицо от половины до двух третей полного состава. Все были мрачны, и всем хотелось идти в дело. Все-таки это был исход.

Наконец он наступил. От командира казачьей сотни прискакал казак с известием, что

турки начали наступать и что он, командир, должен был стянуть своих людей и отступить на пять верст. Потом оказалось, что турки вернулись, не думая продолжать наступление, что нам можно было спокойно оставаться на месте, тем более, что нам никто не велел наступать. Но командовавший тогда нами генерал, незадолго до того приехавший из Петербурга, чувствовал то же, что и все люди отряда. А людям было невыносимо сидеть сложа руки или стоять по целым суткам на часах против невидимого и, как все были убеждены, несуществовавшего неприятеля, питаться скверною пищею и ждать своей очереди заболеть. Всем хотелось идти драться. И генерал приказал нападение.

Мы оставили половину отряда в лагере. Положение дел было настолько мало известно, что можно было ждать атаки с других сторон. Четырнадцать рот, гусары и четыре пушки после полудня двинулись в поход. Никогда мы не шли так скоро и бодро, кроме того дня, когда проходили перед государем.

Мы шли долиною, проходя одну за другой брошенные турецкие и болгарские деревни. В

узких переулках, обнесенных высокими, выше человеческого роста, плетнями, не встречалось ни человека, ни скотины, ни собаки; только куры, клохтая, разлетались от нас по плетням и крышам, да гуси с криком тяжело поднимались на воздух и старались улететь. Из садилов выглядывали ветви, точно облепленные спелыми сливами всевозможных сортов. В последней деревне, за пять верст от того места, где предполагались турки, нам дали полчаса отдыха. В это время полуголодные солдаты натрясли множество слив, наелись и набили ими свои сухарные мешки. Некоторые, правда немногие, позаботились наловить и нарезать кур и гусей, ощипали их и взяли с собой. Мне вспомнилось, как те же солдаты, перед систовской переправой, в ожидании боя, выбрасывали из ранцев все свои вещи, и я сказал об этом Житкову, который в это время ощипывал огромного гуся.

— Что ж, Михайлыч, хотя в действии не были, а ждать привыкли. Все сдается, будто так только проходишь. Вничью сыграешь. А ежели и попадешь в действие — запас есть не просит. Ну, как не убьют? Закусить-то и есть

чем.

— Страшно вам? — невольно спросил я его.

— Да может, ничего и не будет, — не скоро ответил он, щурясь и старательно выщипывая оставшийся белый пушок.

— А если будет?

— Ежели будет — страшно, не страшно, все одно, идти надо. Нашего брата не спросят. Иди себе с Богом. Дай-ка ножа: у тебя нож важный.

Я дал ему свой большой охотничий нож. Он разрубил гуся вдоль и половину протянул мне.

— Возьми-ка себе на случай. А об этом самом, страшно ли, не страшно, не думай, барин, лучше. Все от Бога. От него никуда не уйдешь.

— Ежели уж летит в тебя пуля или там граната, куда ж уйти! — подтвердил Федоров, лежавший около нас. — Я так полагаю, Владимир Михайлыч, что даже опасности больше есть в бегстве. Потому пуля по траектории должна лететь этак вот (он показал пальцем), и самая что ни на есть жарня в тылу образуется!

— Да, — сказал я, — особенно с турками. Говорят, они высоко целят.

— Ну, ученый! — сказал Житков Федорову, — разговаривай больше! Там тебе такую траекторию покажут! Оно конечно, — прибавил он, подумав, — что лучше уж впереди...

— Куда начальство, — сказал Федоров. — А наш вперед пойдет, не струсит.

— Пойдет. Наш не струсит. И Немцев тоже пойдет.

— Дядя Житков, — спросил Федоров, — как скажешь: быть ему сегодня живу или нет?

Житков потупил глаза.

— Ты про что это говоришь? — спросил он.

— Да полно! Видел его? Так вот все в нем и ходит.

Житков стал еще угрюмее.

— Пустое ты болтаешь, — глухо проговорил он.

— А до Дунаю-то что говорили? — сказал Федоров.

— До Дунаю!.. Обозлившись, с сердец, всякое несли. Известно, невтерпеж было. Ты что думаешь, разбойники, что ли? — сказал Житков, обернувшись и смотря Федорову прямо в

лицо. — Бога, что ли, в них нет? Не знают, куда идут! Может, которым сегодня Господу Богу ответ держать, а им об таком деле думать? До Дунаю! Да я до Дунаю-то и сам раз барину сказал (он кивнул на меня). Точно, что сказал, потому и смотреть-то тошно было. Эка вспомнил, до Дунаю!

Он полез в голенище за кисетом и долго еще ворчал, набивая трубку и закуривая ее. Потом, спрятав кисет, уселся поудобнее, охватив колени руками, и погрузился в какую-то тяжелую думу.

Через полчаса мы вышли из деревни и начали подниматься из долины в гору. За возвышенностью, которую нам нужно было перейти, были турки. Мы вышли на гору; перед нами открылось широкое, холмистое, постепенно понижавшееся пространство, покрытое то нивами пшеницы, то кукурузными полями, то огромными зарослями карагача и кизила. В двух местах белели минареты деревень, скрытых между зелеными холмами. Мы должны были взять правую из них. За нею, на краю горизонта, чуть виднелась беловатая полоска: то было шоссе, прежде занятое на-

шими казаками. Скоро все это скрылось из вида: мы вступили в густую заросль, изредка прерываемую небольшими полянками.

Я плохо помню начало боя. Когда мы вышли на открытое место, на вершину холма, откуда турки могли ясно видеть, как наши роты, выходя из кустов, строились и расходились в цепь, одиноко загремел пушечный выстрел. Это они пустили гранату. Люди дрогнули; глаза всех устремились на уже расплывавшееся, тихо скатывавшееся с холма белое облачко дыма. И в тот же миг приближающийся звонкий, скрежещущий звук снаряда, летевшего, как казалось, над самыми нашими головами, заставил всех пригнуться. Граната, перелетев через нас, ударилась в землю около шедшей позади роты; помню глухой удар ее разрыва и вслед за тем — чей-то жалобный крик. Осколок оторвал ногу фельдфебелю. Я узнал это после; тогда я не мог понять этого крика: ухо слышало его — и только. Тогда все слилось в том смутном и не выразимом словами чувстве, какое овладевает вступающим в первый раз в огонь. Говорят, что нет никого, кто бы не боялся в бою; всякий

нехвастливый и прямой человек на вопрос: страшно ли ему, ответит: страшно. Но не было того физического страха, какой овладевает человеком ночью, в глухом переулке, при встрече с грабителем; было полное, ясное сознание неизбежности и близости смерти. И — дико и странно звучат эти слова — это сознание не останавливало людей, не заставляло их думать о бегстве, а вело вперед. Не проснулись кровожадные инстинкты, не хотелось идти вперед, чтобы убить кого-нибудь, но было неотвратимое побуждение идти вперед во что бы то ни стало, и мысль о том, что нужно делать во время боя, не выразилась бы словами: нужно убить, а скорее: нужно умереть.

Пока мы переходили через поляну, турки успели сделать несколько выстрелов. Нас отделяла от них только последняя большая заросль, медленно поднимавшаяся к деревне. Мы вошли в кусты. Все смолкло.

Идти было трудно: густые, часто колючие кусты разрослись густо, и нужно было обходить их или пробираться через них. Шедшие впереди стрелки уже рассыпались цепью и изредка тихо перекликались между собою,



чтобы не разойтись. Мы пока держались всей ротой вместе. Глубокое молчание царило в лесу.

И вот раздался первый, негромкий, похожий на удар топора дровосека, ружейный выстрел. Турки наугад начали пускать в нас пули. Они свистели высоко в воздухе разными тонами, с шумом пролетали сквозь кусты, отрывая ветви, но не попадали в людей. Звук рубки леса становился все чаще и наконец слился в однообразную трескотню. Отдельных взвизгов и свиста не стало слышно; свистел и выл весь воздух. Мы торопливо шли вперед, все около меня были целы, и я сам был цел. Это очень удивляло меня.

Вдруг мы вышли из кустов. Дорогу пересекал глубокий овраг с ручейком. Люди отдохнули минуту и напились воды.

Отсюда роты развели в разные стороны, чтобы охватить турок с флангов; нашу роту оставили в резерве в овраге. Стрелки должны были идти прямо и, пройдя через кусты, ворваться в деревню. Турецкие выстрелы трещали по-прежнему часто, без умолку, но гораздо громче.

Выбравшись на другой берег оврага, Венцель выстроил свою роту. Он сказал людям что-то, чего я не слышал.

— Постараемся, постараемся! — раздались голоса стрелков.

Я смотрел на него снизу: он был бледен и, как мне показалось, печален, но довольно спокоен. Увидев Ивана Платоныча и Стебелькова, он махнул им платком, потом стал искать чего-то глазами в нашей толпе. Я догадался, что ему хочется проститься и со мной, и встал, чтобы он заметил меня. Венцель улыбнулся, кивнул мне несколько раз головою и скомандовал роте идти в цепь. Кучки по четыре человека расходились вправо и влево, растянулись в длинную цепь и разом исчезли в кустах, кроме одного, который вдруг рванулся всем телом, поднял руки и тяжело рухнулся на землю. Двое из наших выскочили из оврага и принесли тело.

Томительно прошло полчаса неизвестности.

Бой разгорался. Ружейный огонь учащался и перешел в сплошной грозный вой. На правом фланге загремели пушки. Из кустов нача-

ли показываться идущие и ползущие окривавленные люди; сначала их было мало, но с каждой минутой становилось все больше и больше. Наши помогали им спускаться в овраг, поили водой и укладывали в ожидании санитаров с носилками. Стрелок с раздробленной кистью руки, страшно охая и закатывая глаза, с посиневшим от потери крови и боли лицом, пришел сам и сел у ручья. Ему затянули руку, уложили на шинель; кровь остановилась. Его была лихорадка; губы дрожали, он всхлипывал, нервно и судорожно рыдая.

— Братцы, братцы!.. земляки милые!..

— Много побили?

— Так и валяются.

— Ротный цел?

— Цел пока. Кабы не он, отбили бы. Возьмут. С ним возьмут, — слабым голосом говорил раненый. — Три раза водил, отбивали. В четвертый повел. В буераке сидят; патронов у них — так и сеют, так и сеют... Да нет! — вдруг злобно закричал раненый, привстав и махая больной рукой: — Шалишь! Шалишь, проклятый!..

И он, вращая исступленными глазами, выкрикнул страшное, грубое ругательство и повалился без чувств.

На берегу оврага показался Лукин.

— Иван Платоныч! — закричал он не своим голосом. — Ведите!

Дым, треск, стоны, бешеное «ура!». Запах крови и пороха. Закутанные дымом странные чужие люди с бледными лицами. Дикая, нечеловеческая свалка. Благодарение Богу за то, что такие минуты помнятся только как в тумане.

Когда мы подоспели, Венцель в пятый раз вел остаток своей роты на турок, засыпавших его свинцом. На этот раз стрелки ворвались в деревню. Немногие из защищавших ее в этом месте турок успели убежать. Вторая стрелковая рота потеряла в два часа боя *пятьдесят два* человека из ста с небольшим. Наша рота, мало принимавшая участия в деле, — несколько человек.

Мы не остались на отбитой позиции, хотя турки были сбиты повсюду. Когда наш гене-

рал увидел, что из деревни выходят на шоссе батальон за батальоном, двигаются массы кавалерии и тянутся длинные вереницы пушек, он ужаснулся. Очевидно, турки не знали наших сил, скрытых кустами; если бы им было известно, что всего только четырнадцать рот выбили их из глубоких дорог, рытвин и плетней, окружавших деревню, они вернулись бы и раздавили нас. Их было втрое больше.

Вечером мы были уже на старом месте. Иван Платоныч позвал меня пить чай.

— Венцеля видели? — спросил он.

— Нет еще.

— Подите к нему в палатку, позовите к нам. Убивается человек. «Пятьдесят два! Пятьдесят два!» — только и слышно. Подите к нему.

Тонкий огарок слабо освещал палатку Венцеля. Прижавшись в уголку палатки и опустив голову на какой-то ящик, он глухо рыдал.

1882 г.

# Примечания

Две монеты.

[^^^]

Господин.

[^^^]



Где почта?

[^^^]